

ДАНУТА УЛИЦКА

Варшавский университет
(Варшава, Республика Польша)

ORCID 0000-0001-6638-6661
e-mail: d.ulicka@uw.edu.pl

**СТО ЛЕТ СОВРЕМЕННОГО ПОЛЬСКОГО
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ**

**ONE HUNDRED YEARS OF CONTEMPORARY POLISH
LITERATURE STUDIES**

Abstract

The interview focuses on the book *The Age of Theory. A Century of Polish Literary Studies (Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego, 2022)*. Taking this publication as a starting point, the scholars discuss the questions related to the history of literary studies in Poland and other neighbouring countries (Russia and the Czech Republic), analyse the role of tradition in literary theory and poetics, interpret current tendencies in the humanities in general. Special accent is laid on the so-called Polish Theory and its historic development.

Keywords: theory of literature, the Polish Theory, modernity, Central and Eastern Europe, canon

„Sto lat mijalo...
I ci i owi pilnuja przepawy...”¹

Adam Mickiewicz, *Konrad Wallenrod*

Третий наш разговор касается польского литературоведения, и он связан напрямую с выходом очень важной в теоретическом и истори-

¹ В переводе Александра Пушкина: „Сто лет прошло... Всяк переправу охранял...”

ческом плане книги *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego* (Warszawa 2022). Эта книга вышла под научной редакцией профессор Дануты Улицкой – заведующей кафедры поэтики, теории литературы и методологии литературоведческих исследований Варшавского университета, известного исследователя и интерпретатора научного наследия Романа Ингардена, переводчика на польский язык книг и статей Сергея Аверинцева, Михаила Бахтина, Романа Якобсона, Владимира Проппа, Ольги Фрейденберг. Монография посвящена памяти двух выдающихся польских теоретиков литературы – Стефании Скварчиньской (1902-1988) и Хенрика Маркевича (1922-2013). Эту книгу можно назвать своеобразным интеллектуальным подвигом в сегодняшней, абсолютно не героической, для филологов ситуации. Продуманность эпиграфов и архитектуроники, соотнесенность заявленных одиннадцати тезисов во введении (*Principia*) с общей структурой и замыслом монографии, гармония фотографий и архивных материалов со строением научного дискурса, диалектика абстрактной теории и конкретной литературной практики – все это создает впечатление книги, которая пишется и издается не для одного поколения. Монографию сопровождают два обширнейших тома антологии оригинальных текстов самых видных польских литературоведов и интеллектуалов прошлого и нынешнего века.

Но предметом размышлений Дануты Улицкой в данном тексте будут не только отраженные в этой книге судьбы польского литературоведения, но и сегодняшний статус наук о литературе.

RM: Конечно же, каждый, кто берет в руки книгу *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego* задается вопросом о её названии: ведь в книге речь идет в большей мере о теоретических вопросах литературоведения, хотя она и построена очень изящно (мульти-медиаально), с привлечением множества фотографий и архивных документов. Что же было решающим в выборе заглавия?

DU: Есть несколько причин, по которым я как научный редактор издания остановилась на таком заглавии. Во-первых, я стремилась к тому, чтобы как-то освободить образ теории литературы от анти-теоретических аспектов, которых было бесчисленное множество, начиная с конца 1960-х годов во Франции, затем в других странах Западной Европы и в США. Один из самых известных примеров в этом отношении – сборник *Против теории* середины 1980-х годов. В Польше

эти тенденции восприняли с опозданием, но почему-то воспринимались они очень охотно и никто не задумывался над последствиями. Если же обобщить эти тенденции, то можно сказать, что практически все анти-теоретические движения были нацелены в сущности только на один вариант теории, называемый генеративной семиотикой, которая просуществовала очень недолго (пять-шесть лет), а стала удобным мальчиком для битья из-за своих абстрактных схем и непонятного словаря. Но при этом исчезла память о том, что литературоведение, зародившееся в первые два десятилетия XX века в нашем регионе (Центральная и Восточная Европа), не имеет к такой теории никакого отношения. Ведь оно имело дело не только с литературными текстами, и не только с лингвистическими текстами, хотя его основой была лингвистика. Основатели современного литературоведения в Центральной и Восточной Европе также писали о кино, плакате, цирке и вместе с тем сами занимались литературой. Поэтому отказ от понятия „теория литературы“ вполне может показать истинное лицо и невероятную амплитуду литературоведения, зародившегося в первые десятилетия XX века и преуспевающего до сегодня, хотя его иногда называют, например, культурной поэтикой или культурологической теорией литературы. Во-вторых, название *литературоведение* помогает преодолеть стереотипы о якобы разделении теории и истории литературы. Такие разделения должны в настоящих научных исследованиях прекратиться, потому что они не оправдываются исторической практикой. Кем, например, был Роман Якобсон? Историком мысли, теоретиком литературы, лингвистом или, может быть, антропологом? Аналогично и один из крупнейших польских учёных XX века – Михал Гловиньский, который был теоретиком литературы, историком, но и просто писателем. Я придерживаюсь мнения, что необходимо показать пересечение всех этих разных направлений интеллектуальной, исследовательской и общественно-политической деятельности, хотя бы изменив название .

RM: Что касается смерти теории литературы, провозглашаемой время от времени, то я думаю, что сама эта идея уже стала одной из современных теорий, когда разные литературные явления рассматриваются с перспективы смерти теории литературы, то есть смерть теории как одна из возможных теорий существует вместе с другими. Но проблема ведь в том, что современные теории все реже и реже занимают собственно художественной литературой и её текстами как

формой её существования и функционирования. И в этом смысле то пересечение разных направлений интеллектуальной и исследовательской деятельности, о котором Ты говоришь, обычно называют интеллектуальными практиками. Но разве при таком подходе не теряется специфика собственно литературы и её теории? Не растворяется ли она в этих разных практиках как щепотка соли в стакане воды?

DU: Но Ты ведь знаешь, что поэтологические и теоретические установки, а также сами термины, разработанные в обеих этих дисциплинах, до сих пор оказываются главными ориентирами, инструментами, позволяющими исследовать и называть разные явления, например, в области рекламы или других форм так называемого публичного высказывания/дискурса, да и, собственно, любое высказывание. Да и в новых жанрах (?), таких как блоги, можно увидеть постоянство и традиции старого. И в этом смысле оказывается невозможным изъять литературное мышление из культурологического, из интер- и трансмедиального, и даже из мышления о науке вообще. Вспомним, что *Метаистория* Хейдена Уайта (Hayden White) вырастает из *Поэтики* Аристотеля, из *Морфологии сказки* Владимира Проппа и его продолжателей так называемых структуралистов (Ролан Барт, Альгирдас Греймас, Джеральд Принс). И прежде всего, как я уже сказала, является совершенной иллюзией (или когнитивной доксой, увекоченной в учебниках) мысль о том, что так называемые формалисты и структуралисты были „спецификаторами“, ищущими автономии литературы или того, что принципиально отделяет литературу от других типов высказывания. Ведь не случайно же их интересовали в научном отношении и другие виды искусства, а сами они занимались литературным творчеством. Для них, как и для нас сегодня, литература — это просто самый сложный случай самого изощренного формирования словесного высказывания. И если мы сможем распознать и описать этот особо сложный случай, то тогда восприятие других, менее сложных, не будет составлять вообще никакого труда. Потому что они проще, потому что они бессознательно пользуются уже известными литературными „хитростями“ и, называя вещи своими именами, становятся прозрачными для исследователя. Аналогично и с так называемыми общественными высказываниями/дискурсами. Специалист по риторике сразу же, автоматически улавливает все хитрости и „приемы“, которые такая риторика использует для определенной цели. В этом плане достаточно вспомнить известную книгу

Виктора Клемперера о языке Третьего Рейха или исследования Михаила Гловиньского, посвященные анализу новых явлений в польском языке. Короче говоря, торжествуют поэтика и теория: ведь недаром Хейден Уайт оперирует понятием *поэтика истории*, а Ричард Браун в своей книге *A Poetics for Sociology* в категориях метафоры анализирует социологический дискурс. Без поэтики и теории невозможно сделать ни одного осмысленного шага в процессе понимания любого текста. И, наконец, что не менее важно, литературные, поэтологические и теоретические исследования значительно повышают нашу чувствительность к тому, что язык делает с нами вообще, или, скорее, к тому, что его „злые пользователи“ пытаются сделать с нами. И если мы это понимаем, то у нас появляется прививка к этим злым деяниям. В этом и заключается смысл преподавания обоих предметов – поэтики и теории (по крайней мере, для меня). Основной вопрос, который я задаю студентам: как произведение „заставляет“ вас смеяться, плакать, возмущаться, или почему оно может волновать вас?

And last but not least: все эти похоронные воззвания о „смерти теории“ и последующие объявления анти-теорий, пост-теорий, прототеорий не доказывают ничего другого, кроме наличия витальных сил в самой теории. И её постоянная модификация, создание новых концепций ничем не отличается от того, что происходило на протяжении всего XX века, в котором теория постоянно меняла свою кожу и, как блестяще выразились Джейн Эллиотт и Дерек Аттридж, всегда „выходила сухой из воды“.

RM: В связи с очень широкой проблематикой книги я хочу отдельно спросить о „культурной концепции идентичности“ по отношению к литературоведению („kulturowa koncepcja tożsamości”), которая заявлена в своеобразном стратегическом введении к книге – *Principia* (пункт четвертый). С одной стороны, можно подумать, что речь идет о так называемой польской теории, наравне с французской теорией или русской, о которой так много пишут в последнее время, и эта тема обозначена в книге в соответствующей главе (с.55-59). Но с другой стороны, на фоне всей книги видно, что под идентичностью понимается нечто большее. Можешь ли Ты объяснить подробнее эту проблему идентичности польского литературоведения.

DU: Я вижу три естественные разновидности (или диапазона) такой идентичности: местную (польскую), региональную (я предпочитаю

называть её словами Чеслава Милоша, „соседской“, то есть центрально- и восточноевропейской) и самую широкую, так называемую глобальную (лучше сказать – универсальную\общую). Они пересекаются, и они неразделимы. Самое главное для меня это то, что теория литературы родилась именно в нашем регионе Европы – у нас и наших соседей. В то время она (теория) была ещё явлением локальным: и тогдашние различия между русской, чехословацкой и польской теорией лучше всего понимаются через термины и понятия, особенно заимствованные из немецкого литературоведения, такие, как *erlebte Rede*, или, например, через три различные концептуализации так называемого поэтического языка, которые, само собою разумеется, развивались в каждом отдельном случае на совершенно ином литературном материале и поэтому неизбежно были разными. Таким образом, теория литературы тогда была явлением локальным, но в то же время соседским и глобальным – потому что другой теории литературы тогда просто не существовало. Именно из Центральной и Восточной Европы теория начала кочевать вместе с эмигрантами, беженцами и изгнанниками по миру, сначала в США, затем во Францию, чтобы окончательно распространиться по Западной Европе и снова вернуться в США. И в 1980-90-х годах теория литературы начала возвращаться к нам в этих, уже преобразованных вариантах. Понятно, что идентичность не дается раз и навсегда. И теория работала над ней целое столетие, как я уже сказала, постоянно меняла кожу, критически относилась к уже существующим подходам и самокритично к новым. Именно это гарантировало ей жизненную силу и возможность менять ту форму, которую она когда-то приобрела. Тоже самое происходит и сегодня.

RM: Обычно литературоведение выстраивается на текстах классики: так русская теория литературы выростала на романах Федора Достоевского (меньше Льва Толстого), на лирике Александра Пушкина, а в XX веке – на лирике русских модернистов. Какие поэты и писатели были архиважными для польского литературоведения и почему?

DU: Сложный вопрос. В самом общем виде могу сказать, что польская теория по всей видимости не была основана на каноне, тем более на каноне „польском“, то есть романтическом, который она просто отвергла, чувствуя себя после 1918 года свободной от патриотических обязательств. Молодые на то время исследователи – создатели поль-

ской теории ориентировались прежде всего на современную литературу, непосредственно их окружавшую: более умеренные – на поэзию скамандритов (представителей группы Skamander – RM), еще относительно консервативную, по крайней мере, в плане стихосложения, другие – на футуризирующий дадаизм (вроде Александра Вата или Адама Важика, которые не считаются „теоретиками“, но писателями, а в крайнем случае – „эссеистами“, но это уже другая проблема), а сразу после Второй мировой войны – на футуризирующий авангард. Если теоретики и обращались к истории литературы, то скорее к рациональному Просвещению (поэтому в годы так называемой марксистской теории литературы, когда Просвещение было нарасхват, они легко нашли друг друга). Такое отношение к Просвещению и после 1918 года, и после Второй мировой войны было связано с левыми общественными убеждениями и обязанностью „строить“ – и науку, и эмансипированное общественное сознание. Романтические идеалы сохранились, вероятно, только в этом „миссионерском“ взгляде на обязанности исследователя, а именно такой тип исследователя был характерный для польской интеллигенции не только в первой половине XX века, но также, а, может быть, даже особенно во второй половине XX века. Она также ненавидела „молодопольский дискурс“ и, пожалуй, только Роман Ингарден остался верен поэзии Молодой Польши.

RM: А как в польском литературоведении разделены (или не разделены) теория прозы и теория поэзии?

DU: В отличие от русского формализма у нас нет четкой демаркации. Некоторые важные концепции были разработаны как в поэзии, так и в прозе (например, проблема так называемой „кажущейся косвенной речи“ в посвященном ей исследовании К.Вуйцицкого). Впрочем и сама литература, как „Молодой Польши“, так и периода между двумя войнами (1918-1939), интенсивно размывала границы между поэзией и прозой как двумя формами высказывания. Об отсутствии этих границ наиболее ярко свидетельствует название монографии Влодзимежа Болецкого 1982 года: *Поэтическая модель прозы в межвоенный период: Виткаций, Гомбрович, Шульц (Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz)*.

RM: Чего не сделало – а могло сделать – польское литературоведение XX века?

DU: Позволь мне не отвечать на этот вопрос. Пророчество вспять – это не моя специальность. Но в то же время я знаю, чего не сделали польские литературоведы в эмиграции. Они не распространяли и не пропагандировали „свою“ теорию так, как она того заслуживала, и так эффективно, как это делали (и продолжают делать) русские и чехи. Вот почему Polish Theory не появилась в мире, хотя её идеи во многом были пионерскими.

RM: Русское теоретическое литературоведение XX века во многом развивалось под влиянием идей Михаила Бахтина, которого можно назвать парадигматической фигурой для гуманитарных наук в России в этом смысле. Почему Роман Ингарден не стал настолько парадигматическим для польского литературоведения? Или я ошибаюсь?

DU: Ты и ошибаешься, и одновременно прав. Роман Ингарден в межвоенный период казался молодым литературоведам (так называемым формалистам и до-структуралистам) „анахроничным“, хотя, с другой стороны, они видели в нем союзника и приглашали к участию в своих начинаниях, хотели даже включить одну из его публикаций в свою серию „Проблемы поэтики“ („Z zagadanień poetyki“). Сотрудничества однако не получилось. После войны положение Р.Ингардена в академическом мире было очень тяжелым. Поначалу, как и другие львовяне, он неохотно был принят в Ягеллонский университет, и даже подумывал о переводе во Вроцлавский университет и о возрождении там львовской философской школы Казимежа Твардовского. Затем, в 1950-е годы, он стал мишенью янычар из марксистской школы Адама Шаффа (Adam Schaff), потом попал под наблюдение службы безопасности и, наконец, был уволен из Ягеллонского университета. В 1960-х годах структуралисты из Варшавского Института литературоведческих исследований (IBL) и Познанского университета попытались „воскресить“ и актуализировать его достижения. Именно тогда началась большая дискуссия на тему художественного мира литературного произведения и квази-суждений, и концепция конкретизации Романа Ингардена была использована для построения основ коммуникативного варианта польского структурализма. Вспомним наконец, что многие литературоведы утверждали близость феноменологических идей к семиотике. Но структуралистам в работах Романа Ингардена многое препятствовало: он не базировал своих рассуждений на понятии системы, да и его онтология была неприемлема

для структурализма. В целом трудно сказать, что он был в Польше того времени фигурой маргинальной, но он так и не оказалась в центре. *Nota bene*: отношения между феноменологией и структурализмом до сих пор представляют достаточно сложную тему, хотя прошло уже полвека со времени книги Эльмара Холенштейна *Феноменологический структурализм Романа Якобсона* (Elmar Hostenstein *Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus*, 1975).

RM: Возвращаясь теперь к коллективной монографии *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego*, хочу задать личный вопрос: почему в этой книге не упоминается статья Стефании Скварчиньской *Przedmiot, metoda i zadania teorii literatury* („Pamiętnik Literacki” 1938)? Я спрашиваю, потому что я читаю этот текст со студентами на первых занятиях по теории литературы и думаю, что это очень важный текст.

DU: Просто этот текст много раз перепечатывался в различных антологиях, а мы исходили из принципа представлять малоизвестные тексты, циркулирующие не так часто в литературоведческом контексте. Замечу, что мне тоже очень нравится эта статья, такая сильно „ингарденовская“. Кстати именно этот аспект также способствовал тому, что текст не вошел в антологию. Ведь второе правило, принятое нашей группой: мы перепечатывали только „оригинальные“ тексты (если вообще какой-либо текст сегодня можно считать полностью оригинальным, то есть авторским). И с этой точки зрения концепция Стефании Скварчиньской о „вторичных речевых жанрах“ (предшествующая идеям М.Бахтина), равно как и её концепция жанра как *жанрового сознания* (так близкая к пониманию проблемы в настоящее время: жанр как „герменевтическое поле“ или жанр как прототип) казались более важными.

RM: Продолжая теперь вопросы о польском литературоведении, хочу спросить, как бы Ты определила проблему зависимости и влияний на польское литературоведение XX века? Если учесть, что влияние англосаксонских мыслителей пришло довольно поздно (только под конец XX века), то как можно оценить влияние французской, немецкой и русской теоретической мысли?

DU: На этот вопрос очень сложно ответить, он вообще заслуживает отдельного исследования. Вкратце скажу лишь, что влияние европей-

ского литературоведения было поэтапным и, вероятно, было тесно связано со знанием некоторых иностранных языков, которые фактически были доминирующими в гуманитарных науках того времени. В начале XX века, более или менее до конца 20-х годов, сильнейшие источники влияния исходили от немецкой философской эстетики (Вильгельм Дильтей, затем Эдмунд Гуссерль и, наконец, Карл Фосслер и Лео Шпитцер), а также французской (Анри Бергсон, школа Шарля Балли). Но уже в 30-е годы преобладало влияние русскоязычных публикаций. После войны эти влияния не теряют своего значения, меняются лишь предпочитаемые методологические установки. На смену упомянутым немецким исследователям пришли идеи герменевтики – школа Яюсса-Изера, а русских так называемых формалистов заменила тартуско-московская семиотика. В 60-х-80-х годах в польском литературоведении мы имели дело со второй волной французского влияния, сначала французского генеративизма (нарратологии), затем постструктурализма. Но действительно, Ты прав, в первой половине XX века влияние англоязычной теоретической мысли было относительно слабым, за исключением разве что семиотики, но это была в основном логическая семиотика. Так кратко выглядит ответ, если учитывать только доминанты, потому что на самом деле представить весь объем этих влияний и их уравновесить весьма сложно. В любом случае польское литературоведение до конца 80-х годов прошлого века было подлинно полифоническим, многоязычным. В то время как нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как „монологическую“. И, насколько я знаю, не только в Польше. На эту „монологсию“ (которую Паскаль Казанова в *La République mondiale des Lettres* назвал „американским меридианом английского языка“) также жалуются ученые из других стран, например, из Германии.

RM: Несколько слов о польском формализме на фоне чешского и русского.

DU: Сложный вопрос. Само название „польский формализм“ неуместно, хотя и закрепилось в науке (аналогично русскому формализму – ведь это прозвище, употребляемое оппонентами, а не имя,). Как Ты знаешь, Борис Эйхенбаум писал о так называемом формальном методе, сознательно предваряя понятие „метод“ оговоркой „так называемый“, а сами формалисты предпочитали называть себя морфологами. Так называемые польские формалисты появились в середине

30-х годов, когда русских формалистов – как группы – уже не существовало, и даже его отдельные отцы-основатели должны были перестать писать „в духе“ школы. Конечно, поляки знали публикации русских, они имели их в своих библиотеках (Варшавского кружка полонистов и Виленского кружка), в сотрудничестве с Якобсоном (он уже в то время был в Праге) подготовили первую в мире всеобъемлющую антологию школы (готовый тираж сожгли в сентябре 1939 года, и от него почти ничего не сохранилось). Однако методологической зависимости польского формализма от русского или чешского скорее всего не было, не считая общего убеждения в том, что литературоведение должно тесно сотрудничать с лингвистикой, а искусство слова – это искусство использования языка прежде всего. Так называемый польский формализм был очевидно „сразу“ пред-структурализмом, и в его основе – в отличие от русского – лежала концепция Фердинанда де Соссюра. Помню из сохранившихся протоколов заседаний Московского лингвистического кружка скептические высказывания Романа Якобсона о *Курсе всеобщей лингвистики*: Якобсон подчеркивал, что больше узнал и научился от Филиппа Фортунатова.

Другое дело Пражский лингвистический кружок. Здесь сотрудничество было интенсивным, и именно с середины 30-х годов польские ученые публиковались в журнале „Slovo a slovestnost“, здесь же рецензировались их публикации. Потом, после войны, сотрудничество развивалось очень хорошо (в основном благодаря Марии Ренате Майеновой): мы переводили „братьев чехов“, они в свою очередь участвовали в польских конференциях. Польша была тогда, как обычно говорили, „самой веселой казармой во всем социалистическом лагере“. Не только чехи, но и болгары, которые приезжали к нам, имели возможность познакомиться с новейшими европейскими книгами (библиотеку Института литературных исследований Польской Академии наук – IBL PAN – Михал Гловиньский назвал самой лучшей на всем пространстве от реки Одер до Владивостока). Эти контакты наиболее интенсивно развивались в работающем в Институте литературных исследований, коллективе, работающем над проблемами славянского сравнительного стиховедения (Słowiańska Metryka Rogównawsza). Сегодня такого обмена интеллектуальными продуктами почти не существует. По понятным причинам – у меня почти нет связи с Россией (много моих друзей эмигрировало). Правда, иногда я встречаюсь на конференциях с филологами из Праги и Брна.

RM: Как Ты сказала, польское литературоведение XX века развивалось в непосредственной близости и контактах с русским и чешским литературоведением. Можно ли определить общие и отличительные черты литературоведения в каждой отдельной стране?

DU: Основой этого треугольника (Россия – Чехословакия XX века – Польша) был немецкий язык в интеллектуальном и содержательном смысле. Русские, как и поляки, учились в немецких университетах, причем лучших – в Берлине, Геттингене, Марбурге. Для чехов это было не обязательно, потому что в Праге у них был немецкий университет. Но важно отметить, что именно в Германии раньше нежели в других странах обнаружился кризис в модели позитивистского мышления об искусстве, литературе и языке, то есть так называемый антипозитивистский прорыв. Эти тенденции действовали на воображение сначала русских, а затем польских и чехословацких ученых. Какие факторы определили русско-чешско-словацко-польскую общность? Во-первых, на всех вершинах этого треугольника очень сильным вектором был авангард в искусстве, особенно в живописи. Личная дружба литературоведов с художниками – шире говоря, с художниками и типографами – оказала огромное влияние на образ мыслей о литературе и языке во всем регионе. Несомненно, этому сопутствовало пристрастие молодых учёных к революционным веяниям. Когда Казимир Малевич и Роман Якобсон планировали „вторжение“ в Париж в 1912 году (Малевич должен был представить свои картины, а Якобсон – написать предисловие к каталогу выставки), – они оба имели в виду одно: мы покажем Парижу, что такое настоящий футуристически-конструктивистский авангард, ибо на Западе царит постимпрессионизм и буржуазная безвкусица! К сожалению, план не осуществился. Но когда Маринетти приехал в Россию, посетил Москву и Петербург, его высмеивали за желание просвещать русских, так как они (русские) уже давно освоили и усвоили футуризм. Во-вторых, центрально- и восточноевропейское литературоведение возникало в исключительной исторической и политической ситуации. Рухнули три великие империи; разразившаяся Первая мировая война положила начало процессу восстановления независимых государств (я имею в виду не Россию, но Польшу и Чехословакию). Тогда же чехи начали писать свою литературную историю, поляки перестроили свою и сосредоточились, как я уже говорила, больше на Просвещении, а не на романтизме. Именно поэтому в польском литературове-

дении после войны Просвещение стало основной традицией, помимо позитивизма, на который ссылались литературоведы-марксисты. И в-третьих, в первой четверти XX века практически все литературоведы активно участвовали не только в общественно-политической жизни страны, но и в демократизации науки и искусства (чем, кстати, в полной мере воспользовалась и Польская Народная Республика).

RM: В связи с сегодняшними дискуссиями о вине русской классики (Иван Бунин, как известно, назвал ее „великим дурманом“) можно ли говорить о вине русской теории в том, что происходило в XX веке в России и что происходит сейчас? Речь не идет о дискутируемом сотрудничестве Романа Якобсона или Виктора Шкловского с советскими органами госбезопасности, но о том, как теория влияет на сознание масс.

DU: Я все-таки за принципиальное „необременение“ этической „виной“ того прошлого, в котором были и очень молодой, затерявшийся в большой Истории и в советской послереволюционной политике, Роман Якобсон, и шантажированный левый эсер Виктор Шкловский, вынужденно вернувшийся из берлинской эмиграции и своеобразно замолчавший. Ведь это совершенно другая ситуация. Во всяком случае, я смотрю весьма сомнительно на всевозможные автобиографические сочинения Якобсона и Шкловского, равно как и на „свидетельства“ фактов, изложенных в разоблачительных статьях Марины Сорокиной типа „Эмигрант № 1017“. Если бы такие статьи писал западный исследователь, я бы не удивлялась. Но российскому исследователю должно быть хорошо известно, что архивы КГБ хранили то, что хотели, и выдают исследователям то, что хотят. Мы также хорошо знаем „документы“ нашего, польского Института национальной памяти, которые являются фальшивками, написанными агентами по заказу. Если я могла бы и упрекнуть теорию в чем-либо, так это в её бессилии – несмотря на прилагаемые усилия – перед лицом мира политики (политиков), в своеобразной умственной ошибке, а также в недальновидности. Модернистская утопия преобразования и изменения сознания как условия и основы переустройства социального мира оказалась очень восприимчивой к перехвату, очень соответствовала гнетущей власти, создававшей „нового человека“. Аналогично и другие идеи, такие, например, как футуристическая анти-орфография, которая, будучи связана с идеалами демократизации письма,

увековечила однако безграмотность, имела эффект по сути антикультурный. Но винить в этом следует всю гуманитарную науку прошлого века, а также и искусство XX века.

И еще один момент: является ли выходом из сложившейся ситуации сегодняшняя открытая и твердая приверженность теории решению „насуточных проблем“ нашего мира? Не в этом ли кроется суть „смерти теории“? Ее уклонение от познавательных обязанностей в пользу всевозможного „вмешательства“? Ведь в результате такого вмешательства появляется все больше работ, трактующих литературу чисто иллюстративно, использующих ее и злоупотребляющих ею в поисках своих аргументов. Литературоведческие исследования становятся все более „тематологическими“, и все менее мы обнаруживаем в этих исследованиях мысль о том, что смысл высказывания зависит от того, как оно оформлено. Одним словом – базовые филологические навыки сегодня не востребованы. Именно эти проблемы мы и будем обсуждать в июле на Всемирном конгрессе полонистов, тема/девиз которого: „Филология – в/новь“ („Filologia – od/nowa”).

RM: Наш разговор я хотел бы закончить еще одним вопросом: можно ли считать, что книга *Wiek teorii. Sto lat nowoczesnego literaturoznawstwa polskiego* является ответом на вопрос о том, „как сделано“ польское литературоведение?

DU: Мне очень нравится это слово „делание“, отсылающее к приличному ремеслу и известное не только из литературоведческих публикаций Эйхенбаума и Шкловского, но также из наследия художника Павла Филонова, который меня давно очаровал. Если даже *Wiek teorii* отвечает на этот вопрос, то только в границах узкого времени польского литературоведения, которому, конечно, более ста лет, ведь оно началось по меньшей мере в конце XVIII-го века, если мы смотрим на литературоведение исключительно в рамках академической дисциплины.